

Александр  
БЛОК

*Сочинения*



Александр Александрович Блок

# Дневник женщины, которую никто не любил

«В психологии людей, обладающих материальным и нравственным достатком, есть одно глубоко вкоренившееся чувство: чувство отвращения к людям очень несчастливым, неудачливым, конченым, «бывшим»; или к таким, которые *кажутся* конченными. Это чувство может доходить до физической тошноты...»

# Содержание

1.....	0005
2.....	0008
3.....	0010
4.....	0015
5.....	0017

**Александр Александрович  
Блок**

**Дневник женщины, которую  
никто не любил**

В психологии людей, обладающих материальным и нравственным достатком, есть одно глубоко вкоренившееся чувство: чувство отвращения к людям очень несчастливым, неудачливым, конченым, «бывшим»; или к таким, которые *кажутся* конченными. Это чувство может доходить до физической тошноты.

Что же, разве люди, обладающие достатком, счастливы и благополучны? – Едва ли.

Скорее, их высокомерное чувство брезгливости проистекает от *недостаточно высокой* культуры, которая *теряется* перед лицом темноты, невежества, неубранности, путаницы. Едва ли в этих людях возмущается та культура, высоты которой достигли Франциск Ассизский и Юлиан Милостивый (именно они – оба знавшие в юности и любовь, и роскошь, и страсти, и все утехы «шумного света»).

Мы достигли пока ступени культуры умного ученого. Есть много ученых, принесших большую пользу науке; они обращены лицом

в ее сторону, и никуда больше; многие стороны жизни от них закрыты, они им не звучат.

Это – культура в *шорах*: по прямой линии своей специальности видно очень далеко; а по сторонам – ничего. Нет никакого интереса к пестроте жизни; поэтому нет и знания о жизни. Иной из таких людей способен всю жизнь видеть высокие нравственные и общественные образцы в том, что плоско и мелко; а в том, что глубоко искренно, – подозревать низкое, грязное и корыстное только.

Да, для того чтобы отличать настоящее от поддельного, искреннее от лживого, подлинно-нравственное от лицемерно-нравственного, нужна такая высокая степень развития, до которой в наше время не достиг почти никто. Это – истина очень жестокая, но она – истина, думается мне. Мы часто думаем, что достигли очень многого; а между тем многим из тех, кто думает так, свойственно то непреодолимое чувство *отвращения* к конченому человеку, которое передается из поколения в поколение, вошло в плоть и кровь, проявляется в бесчисленных мелочах и подробностях жизни; одно из многих чувств, сообщающих со-

временной жизни скучный, серый, уродливый налет; одна из бесчисленных, почти незаметных для присмотревшегося глаза язв, которые лечатся железом; «если же не лечит железо, лечит огонь»: огонь революций.

У нас есть богатства высокой мысли и красоты; не грешно иногда зайти в бедную храмину с ободранными стенами и посмотреть, какую отсюда представляется жизнь.

Если мы – только «тонкие и умные люди», культурные ученые, художники, политики, – нам незачем, разумеется, идти туда. Но если в нас есть еще культура Франциска Ассизского и Юлиана Милостивого, которые знали нечто кроме полноты земных великолепий, то мы не побоимся взглянуть в лицо такой жизни.

Глаза наши увидят не романтическую келью, не шалаш и не хижину; им представится многоэтажный каменный дом; чем выше этажи, тем холоднее в них жить. Нужда, горе, неудачи, невежество, болезни – загоняют человека все выше. Пока он был внизу, он еще присматривался к пестроте жизни, как-то принимал в ней участие, хотя она и была часто отроду непонятна и непосильна для него (с ростом цивилизации число «неприспособленных к жизни» растет – этого забывать нельзя). Чем выше загоняла человека враж-

дебная ему жизнь, тем холоднее ему становилось; тем меньше умел он понимать жизнь и приспособляться к ней.

Наконец он очутился на холодном чердаке. Из окон не стало видно ничего, кроме пустырей. Жизнь внизу стала только жестокой врагиней. Смерть же все еще не собралась прибраться.

Об одной из таких жизней я и хочу говорить.

Чувство отвращения и телесной брезгливости легко могла вызвать женщина, пришедшая ко мне несколько лет тому назад, в осенний, изжелта-черный петербургский день.

Крошечного роста, пожилая, грязно одетая, дурно пахнувшая. Ни одной определенной черты во всей фигуре, в походке, в движениях. На смуглом и неумытом лице заметны только глаза, в которых можно прочесть многое; глаза меняются в зависимости от темы разговора: есть в них и скучная южная страстность – голый «темперамент»; и какая-то молодая живость, честность; но главное, глубокая обида, ряд каких-то физических и душевных мук; видно, что глаза, очевидно умевшие когда-то смеяться, теперь совершенно разучились смеяться.

Скучное, обыкновенное – на первый взгляд; должно быть, в молодости была хорошенькой, кому-то понравилась, кому-то «отдалась». Потом – бросили; потом – стала переходить из рук в руки, истрепалась, унизилась,

стала, может быть, уличной, а потом – гордость не позволила, а может быть, и до сих пор иногда не выдержит и пойдет «гулять».

– Меня направил к вам один студент. Он сказал, что такой дневник, как мой, можно показать Розанову и Блоку. Но Розанов пишет в «Новом времени», потому я пришла к вам.

При этом она положила на стол толстую кипу грязных тетрадей в черной клеенке.

– Почему ж вы мне доверяете? Вы читали что-нибудь мое?

– Нет, ничего не читала. Я вообще почти ничего не читала. Несколько научных книг, а по беллетристике – почти ничего. Начала читать Достоевского, Андреева, но мне стало тяжело, и я бросила. Я ведь читаю очень внимательно, вдумываюсь в каждое слово.

Читала «Крейцерову сонату», только поняла ее, как мне потом сказали, наоборот: что Толстой – за брак. Чем больше она говорила, тем больше путалась, и я почти переставал понимать ее временами; до такой степени были сбиты в кучу те немногие понятия, с которыми она возилась в своем неуверенном и прерывистом разговоре. К тому же она подав-

ляла своей истеричностью, своей бабьей темнотой и бестолковостью, чем-то смахивающим на попытки кокетничать и дурным запахом, который шел от нее.

– Всю жизнь меня интересовал только внутренний мир, мои душевные переживания и существование Бога; но я с трудом в этом разбираюсь; для этого мне нужно изучить химию и физиологию... Я теперь хожу на заседания спиритического общества, там есть люди, искренно интересующиеся этим предметом; но не все; например, один барон говорит на все эти темы (конечно, по-южному: «тэмы»); только я не верю в его действительный интерес... Больше я нигде не бываю. Знакомых здесь нет, я Петербурга не знаю. Сажу в своей комнате с утра до вечера, пишу дневник и занимаюсь наблюдением над своей психической жизнью. Я надеюсь, что, когда соберу все свои душевные переживания, мне удастся определить состав души...

Так она и сказала.

– Вы замужем?

– Нет... то есть я была замужем...

После этого – долгое молчание – от невоз-

возможности произнести слово; на глаза навертываются несчастные скупые слезы, которые она растирает грязным платком, вытаскивая его почему-то из подмышки.

Кофточка у нее надета поверх какой-то фуфайки, в руках она все время крутит какую-то бечевку, все время роняет на пол то платок, то бечевку; она наклоняется и ищет их, точно делает какое-то второе дело, более важное, чем разговор.

– Вы из дневника узнаете все, что было со мной за двадцать пять лет жизни.

Она ушла, а дневник остался лежать на моем столе, постепенно заваливаясь книгами, неприятно торча из-под них своими потресканными грязными клеенками.

Она меня не торопила, но все-таки через месяц я получил написанное красными чернилами напоминание о дневнике; только тогда я принялся за чтение ее повести.

Почерк несуществующий, написано грязно – то черными, то красными чернилами (все, вероятно, в разных местах, всегда чужих, неудобных), исчиркано чьим-то карандашом, захватано пальцами.

Ужасная повесть.

**М**ы плохо умеем отделять настоящую книгу от рыночного хлама. То и другое одинаково имеет вид книги. Хлам часто издается даже гораздо «роскошней», чем настоящие книги. Есть немало критиков, которые придают огромное значение тому, что не доживет до завтрашнего дня. Что же после этого требовать от малообразованного рядового читателя, который занимательность предпочитает истине и красоте и который сам плохо говорит на родном языке?

Я думал о том, чтобы издать дневник этой «женщины, которую никто не любил», если не весь, то хотя бы в отрывках. По этому поводу велись переговоры, но из них так и не вышло ничего. Пожалуй, это и правильно, потому что из такого издания не вышло бы «книги» в настоящем смысле. Слишком однообразна и тягуча эта длинная повесть о пошлости и ужасе жизни; прочесть ее трудно; трудно — для цивилизованного читателя, которому нужны фабулы, стройность, вкус, язык; но есть другой читатель, принимающий искрен-

ность и темперамент за красоту, считающий верхом поэзии, например, стихотворения Надсона, плохо говорящий по-русски. Такой читатель мог бы принять дневник, обнимающий двадцать пять лет жизни, «полной восторженно-романического настроения» и написанный с необыкновенной, почти пугающей по временам искренностью, – за настоящую книгу.

И кто знает, что бы вышло из этого?

Тому, кто ценит выше всего ясность понятий, чистоту языка, красоту образов, – лучше вовсе не брать в руки такого дневника. Искать в нем занимательного чтения было бы кощунством, оскорблением долгой и тяжелой жизни.

Язык автора – тот вульгарный жаргон, на котором говорит, однако, огромная часть южной русской интеллигенции. Умственное развитие автора – ниже среднего, так что о какой бы то ни было отчетливости понятий говорить не приходится. Что касается отношения к искусству, то у автора, судя по его запискам, было музыкальное дарование; во всех же остальных областях – полное отсутствие не только художественного развития, но и чутья.

Неряшливые и бесформенные записки эти – не книга; это – сырой материал и характернейший человеческий документ. Нельзя ни исправить, ни сократить повесть, бесцветную и однообразную, как русская провинциальная жизнь; среди сотни серых дней вдруг

выдается один, непохожий на другие; но попробуйте вычеркнуть серое и оставить одни яркие дни: сейчас же и эти дни померкнут; совершенно так же, как в самой жизни.

Сознавая все эти убийственные недостатки дневника, я спрашивал себя при чтении: почему испытываешь волнение, перелистывая эти сотни наивных страниц, заполненных чудовищной безвкусицей и постоянными повторениями? – Такой безвкусицы не сочинишь; она может только родиться, притом именно в провинции, на юге России.

Когда читаешь записки девушки-гимназистки, проведенной детство в невежественной и захолустной среде, невольно вспоминается Гретхен. Читаешь несколько слов об отношении молодой женщины к собственному ребенку – и вдруг овеет как бы «древний ужас», воспоминание не нашей эры. На первый взгляд – это чистая патология, какое-то отвратительное извращение половой сферы. Но вчитываясь, начинаешь понимать, что за этим стоит и другое, что когда-то знали «мудрецы», а теперь знают – В. В. Розанов и безвестная молодая мать, не слышавшая ни о ка-

ких мудрецах.

Читаешь утомительно однообразную повесть неразделенной любви – и за грудой обычных и даже пошлых слов чувствуешь рост телесной страсти, перерастающей себя и принимающей одухотворенные формы.

Наконец, читаешь о последних событиях в жизни автора, и вспоминаешь, что они привели к тому, о чем говорит одна фраза письма этой женщины ко мне: «Острота душевного состояния и слишком пониженное физическое самочувствие заставляют меня спешить ликвидировать свои дела». Читаешь и думаешь: отчего столь модные недавно описания любви к двоим и троим зараз были у наших литераторов малоубедительны, а часто – просто смешны? А вот эта женщина, не читавшая ни новых, ни старых литераторов, *убедительно* показывает, что такая двойная любовь *действительно* бывает. Не так важно это, как дальнейшее: его показывает уже не беспомощный автор дневника, а сама судьба говорит его устами: двойная любовь оканчивается необъяснимо просто и ужасно, кончается двумя обыкновенными смертями.

Литераторы приукрашали и присочиняли; автору записок – не до украшений, и ему не может прийти в голову, как можно что-нибудь сочинить; оттого и содрогаешься, читая о двух случайных смертях двух обыкновенных людей, гораздо более, чем над десятками талантливых истязаний над сверхчеловеками.

Холодный ужас житейской скуки, житейской «постепеновщины» способен дать людям – и несчастным и счастливым – часто гораздо больше, чем занимательная и красивая выдумка. И многие из нас предпочли бы непритязательный дневник бедной провинциалки – притязаниям и дерзновениям иных столичных Фаустов. Удивительно, что человек, выкинутый из жизни, лишенный того немногого, что было ему дорого на свете, остается на какой-то нравственной высоте. Эта женщина всю жизнь искала и продолжает искать Бога, а Бог был к ней, может быть, ближе, чем ко многим другим. Сквозь всю пошлость и весь ужас жизни ее красной нитью прошла нравственная чистота, своеобразная детскость; и это – вывод из жизни, в которой первую роль всегда играл пол, то

есть, следовательно, из жизни урезанной, сокращенной, обезличенной; из той самой, которую, упиваясь, описывают Вербицкая и Арцыбашев – идола современной литературы.

В дневнике есть еще описания случаев ясновидения и религиозных экстазов. Они занимательны, пожалуй, для психологов, для врачей, для тех, кто исследует «многообразие религиозного опыта»; но ценность всех этих частных случаев, пожалуй, сомнительна, слишком наивен автор; может быть, все это просто: жизнь сера, а человек (женщина особенно) хочет, чтобы во что бы то ни стало случилось необыкновенное, и случилось именно с ним. На него и «накатывает».

Что же? В конце концов в дневнике гораздо больше недостатков, чем достоинств; так ведь скучный и неоспоримый вывод почти всякой человеческой жизни; особенно жизни тех, кто отроду к ней неприспособлен, когда нужда, обиды и несчастья преследуют всегда. Есть много таких людей в России, кроме составительницы этих записок; испепелили себя в погоне за каким-то огнем, который надеялись поймать голыми руками.

Вероятно, женщина, которая приходила ко мне бормотать об «определении состава души», уже умерла. Если и мается еще на свете это существо с этим именем и фамилией, то оно уже не похоже на ту; ко мне был принесен когда-то, во всяком случае, избыток отчаянья, последний крик долгого горя. И я, вспоминая всю эту жизнь целиком, вижу подобие какой-то бесформенной и однородной массы; точно желто-серый рассыпчатый камень-песчаник; но, мне кажется, в эту желтую массу плотно впились осколки неизвестных пород; они тускло поблескивают оттуда.

Освобожденные и отшлифованные рукою мастера (мастера жизни, конечно!), они могли бы заблестеть в венце новой культуры.

Такова ценность всякого искреннего «человеческого документа».

20 января 1912 – 20 апреля 1918